

Татьяна Сопина

Пронесло меня**вольным и битым...***(Предисловие)*

/65/

«**Н**о любил свою жизнь, что была! Пронесла меня вольным и битым, добела закусив удила, по надеждам, годам и обидам», – написал Михаил Николаевич Сопин в 1983 году. Среди этих орбит чётко обозначаются четыре: Белгород, Харьков, Пермь, Вологда. Уходящий 2010 год знаменателен для меня тем, что во всех этих городах к Михаилу был проявлен повышенный (хочется верить, не кратковременный) интерес.

Белгородчина – родина поэта, военное детство. В апреле мне написала школьница А. Б. (назовём её пока так) из Белгорода, которая, при поддержке мамы и учительницы, всерьёз занялась творчеством Михаила Сопина. Свои первые работы А. Б. разместила на своём и на образовательном сайтах и получила отклики из разных концов страны. В канун дня Победы в средних и старших классах гимназии №22 г. Белгорода по её исследованиям прошло 17 уроков Мужества. Сейчас девочка принята в лицей для одарённых детей (специализация – информатика, иностранный язык) и продолжает работать над темой «Белгородский край в творчестве М. Н. Сопина».

«Я считаю его белгородским поэтом», – написала мне А. Б.

Я же ей ответила, что, хотя малая Родина всегда остаётся единственной, географические привязки делать вряд ли правильно. Просто русский поэт... Ведь и Пермь уже считает Сопина пермским поэтом, и не без основания – в этих краях он отбывал лагерный срок (15 лет) и 13 лет затем прожил в областном центре. Во время моего пребывания в Перми, в начале этого года, состоялась передача по радио «Эхо Москвы в Перми», был показан сюжет по телевидению, прошли встречи, появились обширные публикации в местных газетах.

В Вологде у него вышла первая книга, здесь он окончательно оформил своё неповторимое лицо и обрёл «последний приют». В августе этого года на «Вологодском радио» в авторской передаче Николая Коробова «Земляки» прошло четыре передачи о Михаиле Сопине.

Не лишним будет сказать, что в США в середине лета вышла Антология Интернет-журнала «Русский Глобус», в которой Сопину уделено семнадцать страниц. Книга будет рассылаться по ведущим библиотекам и русскоязычным вузам мира.

А в эти дни в Москве проходит презентация сборника «Шрамы на сердце» (издательство «Красная Звезда») – произведения фронтовиков, прошедших большую войну и сделавших ближе Великую Победу. К участию в сборнике был приглашен и поэт Михаил Сопин.

Ну, а что же Харьков? Его Михаил называл своей второй Родиной. Ныне Харьков – город иностранный. И когда я побывала там два года назад, мне сказали, что у них речь о русском поэте возможна только раз в году – в День Победы. Но интерес был проявлен. В частности, радио-журналистка задала мне вопрос: «Чем памятен для Михаила Николаевича город юности – Харьков?» – на что я без запинки ответила: «А здесь его в первый раз посадили. И во второй – тоже...».

Тогда же я, по просьбе кандидата филологических наук М.М. Красикова, написала и отослала по Интернету статью «Из далей харьковские клёны...».

Два года статья пролежала без движения. Но правительство на Украине переменялось, и статья опубликована в харьковском журнале «Лавра». Вряд ли это издание будет доступно вологжанам. Поэтому я предлагаю ознакомиться с текстом в журнале Союза российских писателей «У».

Из далей

харьковские клёны...

(Три памяти в творчестве Михаила Сопина)

Истоки

Я познакомилась с Михаилом Сопиным в 1968 году в северных Пермских лагерях, куда приехала по командировке, потому что меня заинтересовал автор необычных стихов. Тогда я была начинающей журналисткой пермской областной газеты «Молодая гвардия», а Михаилу оставалось до окончания 15-летнего срока отбывать еще два с лишним года. Он представился украинцем, харьковчанином, пел «Реве та стогне...». И стихи были про степь. Но потом оказалось, что, хотя украинские корни в его родне были, это все-таки русский поэт. Писал на русском языке, и основная его тема – Россия, которая, впрочем, в те годы отождествлялась с Советским Союзом.

Всю жизнь Михаил мысленно возвращался к Харькову. Там он жил до войны, учился и работал в послевоенные годы, до ареста в 1955 году. Там в период репрессий, в конце тридцатых, погиб его отец. В Харькове жила (и живет – по сей день!) его родня, и когда мы с Михаилом уже поженились, вместе с детьми ездили в этот город к матери и его близким.

Родом Михаил из села Ломного Грайворонского района (Курская, ныне Белгородская область). Родился 12 августа 1931 года, средний в семье (старшая сестра – Катерина, младший брат – Анатолий). Отец – Николай Сопин, типичная для Ломного деревенская фамилия. Мать носила тоже местную фамилию – Исаева. Но бабушкина родня, по словам Михаила, была легендарной. Родословная, не без основания, не рекламировалась, детям такие легенды знать не полагалось. Но они все равно знали, и особенно Михаил, любимый бабушкин внук. Давайте и мы их послушаем.

Прадеда по материнской линии звали Степан Нидбай, родом с Украины. В поэме «Агония триумфа» Михаил пишет:

Где истоки мои?
Частью вытравлены, частью помню:
Мои предки – оттуда,
Где пелось и плакалось всласть.
Разливался «максим»,
Гоготали махновцы, как кони,
Башлыки с головами
Разбив о Советскую власть.
Ради вдовьих платков?
Я – по траурным по полушалкам –
Семь дедов, подсчитал,
Семь дедов моих в землю легло...

А вот что говорится в литературной записи «Речь о реке» (автор записи – вологодская писательница Галина Щекина, 1993 год):

«Отец да дед были у меня большевики, но вообще у нас в семье было наворочено – белые, красные, дроздовцы, махновцы... У бабушки было шестеро братьев, они носились на конях, свирепели, врываясь друг к другу с оружием. Однако при бабушке не смели.

Один из дядей – красный комиссар (бывший белый) и другой, служивший при немцах в полиции – меня учили добивать людей в ухо. Чем было спастись от такой отравы? Бременить начинкой и смирять ее до тех пор, пока не взорвется?»

Самый старший дед, Афанасий, пропал без вести в первую мировую войну. Михаил-старший – дроздовец, ушел в эмиграцию. Григорий – монархист (кажется, дроздовец); убит в 1924 году в один день со смертью Ленина. Никита – махновец. Андрей – погиб в Великую Отечественную. Дед Петр – красный. Михаил-младший служил у немцев полицаем, по возвращении наших был арестован СМЕРШем, но освобожден по приказу из Москвы, впоследствии работал в Подмоскovie на шахте Узловской и был убит при невыясненных обстоятельствах (похоже, сводили счеты). Был еще дед по

параллельной линии – тоже Михаил (семейное имя?): воевал на японском фронте, дальнейшая судьба неизвестна. Вообще родственников, по параллельным линиям, воевавших в разных армиях, было больше, Михаил и сам их точно не мог назвать. Вот в такой атмосфере формировалось мировоззрение мальчика:

«Все мешалось... Семнадцатый год был для меня романтикой, комиссар – все равно, что святой, но благодаря родне я никогда не мог принять окрас – разделение на красных и белых» («Речь о реке»).

Самая яркая фигура в его воспоминаниях – бабушка Наталья Степановна. Со времен гражданской войны у нее во дворе было закопано оружие всякого рода «на всякий случай». В деревне Наталью Степановну называли «генералом в юбке». Когда началась Отечественная война, помогала советским войскам...

Наталья Нидбай вышла замуж за Петра Исаева, красного командира линейного взвода. Петр, в тридцатые годы, вышел из партии, жил тихо, не привлекая к себе внимания («Понимал, в какое время живет... Семейка ещё «та» – из воспоминаний Михаила Николаевича). Он погиб в Отечественную войну. У них были дети: сын Иван (впоследствии директор сельской школы на Курщине) и дочь Дарья, мать Михаила Сопина.

В 1931–33 годах голод поразил советские села и деревни. Жители устремились в города, и, хотя на пути беглецов ставились препоны, некоторым удавалось. Так в 1933 году Сопины оказались в Харькове. Родители Михаила устроились на танковый завод, где Николай (отец) со временем стал испытателем танков, а Дарья (мать) всю свою долгую жизнь проработала токарем.

ПАМЯТЬ ПЕРВАЯ

Ребятишки под радугой!
Издали – солнечноотелые.
Поразительность вечности.
Миру – ни края, ни дна.
Облака над горой
Развернулись хоругвями белыми.
Поезд, в вечер въезжая,
Дал голос у Песочина...

– Так вспоминает Михаил Сопин раннее детство в Харькове. Более всего таких стихов приходится на начало восьмидесятых годов прошлого века, когда Михаил, уже перебравшийся из Перми в Вологду, работал над своим первым поэтическим сборником «Предвестный свет». По литературным требованиям того времени, поэзия трагическая должна

была быть уравновешена светлой, и Михаил, страстно желающий быть напечатанным, не без удовольствия возвращается к детству:

Ударю в ладони –
И вздрогну:
Какой я счастливый!
Цветет и шумит
То, что будет
Войной сожжено.
Ударю в ладони –
Обвалится иней,
Как ливень.
С годами – все тише.
Потом перейдет в обложной...

Здесь и ранние воспоминания об отце:

...Подходит поезд.
Папа наш влюбленный
Рывком подхватит на руки меня!
И музыка
О солнце утомленном
Зальет вторую половину дня...
Постой, состав!
Куда мы? Так мне жарко.
Читает мама,
Что там пишут ей...
Но дым несло.
И поезд шел на Харьков
По Северо-Донецкой колее...

(«От Харькова до Львова»)

Но предчувствие трагедии в каждом, даже самом светлом стихотворении:

...И образ ветра
Сел на подоконник:
Чужой.
Тревожный ветер был.
Не наш... (там же).

Что это? Близость войны с немцами? Или, как скажет поэт позднее: «...между нами дождь со снегом от довоенной той войны»? Здесь начинается раздвоение:

«Я с печальной улыбкой смотрю на зеркального мальчика Сопина. Мы с ним разные люди. У меня идет вечное рождение, я оглядываюсь, смотрю. Мы идем на разлет, отдаляемся...» («Речь о реке»).

И вот оно:

И летит моё сердце,
Опрокинуто памятью в ужас... (там же).

Сначала репрессии прошли по родственникам:

«Дед Никита, более-менее безболезненно пройдя процедуру раскулачивания, ни с того, ни с сего стал оговаривать себя, распускать

молву, что у него припрятано про черный день. Плевать он хотел на коммунарищиков, хватит и на приобретение нового хозяйства, и на то, чтоб голодрань беспортошную, этих лодырей, скупить с потрохами...

Был взят, доставлен, куда надо, зверски бит шомполами. Когда били, поднимал голову и кричал: «Объединяйтесь, пролетарии, над бездной кровавой, перед гибельной дорогой». Об этом рассказывала бабушка. А на ее вопрос: «Зачем ты дразнил их, зачем выкрикивал, обозлял?» — отвечал: «Молчать, опускать голову, закрывать глаза надобно тогда, когда устанут пилатствовать, а пока бьют, в глаза глядеть надобно, так разумею». Прожил он после этого один день».

А потом настала очередь отца:

« ... Запомнил слом тридцать седьмого года. Мне шел седьмой год. Постоянно висящее солнце, которое слепило, но не грело. В числе моих сверстников выкалывал на плакатах глаза маршалам Егорову и Тухачевскому, мы с пацанами вovsky играли во «врагов народа». До тех пор, пока после вызова на второй допрос не исчез отец.

Я был тогда маленький, рос плохо... Но не отношу себя к тем, кто говорит, что ничего не знал. Трагедия висела над отцом долго, от детей уже ничего нельзя было скрыть. Почные разговоры взрослых мешали нам спать. Наверно, отец чувствовал конец, и эти ночи были для него попыткой продлить жизнь. Он запил. Такого раньше не было — серьезный, выдержанный человек, военпред на Харьковском танковом заводе. Он пил, сжимая в руке партбилет, потом плакал... В первый и последний раз я видел отца таким...

...Меня это раздавило. Мы с отцом были неразъемны, как формула... Он исчез (был арестован), но вернулся... а вскоре скончался от «скоротечного распада легких». Какой там распад? Здоровый, сильный мужик. Даже я, ребенок, не мог поверить в такую «скоротечность».

Отец. Отец..
Ты был так молод.
И не сумел осмыслить суть -
Когда взметнется
Тяжкий молот,
Ударив не в стальную грудь.

.....
Отец, сквозь злую ретушь лет
Я помню, как ты пил ночами..
Пил. Пил.
И вздрагивал плечами,
Сжав большевистский
Партбилет.
(«Отцу»)

Вспоминает Инна Борисовна Титова-Прощуля, со слов своей матери, сестры Михаила, Екатерины:

«Дедушка был арестован в 1937 году, через несколько месяцев освобожден. Умер от туберкулеза и был похоронен с воинскими почестями коллективом танкового завода. Мать на похоронах присутствовала, а Мишку не взяли — маленький».

«Это навсегда окрасило меня бариером страха... Жизнь вливалась в меня до отказа, одно вытесняло другое, как при сосисочной набивке.

В 1939 году арестовали родителей моих друзей по двору. Детей осталось трое: два мальчика и старшая их сестренка лет четырнадцати-пятнадцати, в которую я был тайно, до рыдания, влюблен, так что родители, посмеиваясь, обещали нас поженить.

Ребята остались одни, и я таскал им хлеб пеклеванный, был такой хлеб очень вкусный, я сам его очень любил. И вот, совершенно необъяснимо для самого себя (тогда! сейчас-то я понимаю, это было гипертрофированное чувство сострадания), я пошел к магазину и у входа стал просить милостыню, крестьясь и кладя поклоны. За этим занятием меня обнаружила наша учительница Ксения Михайловна Мухина. Человеком для пацанвы она была добрым, но время было злое. И вот на очередном поклоне я ощутил невыносимую, зверскую боль — она крутила мне ухо...

Я рыдал без слов, с болью и внутренней сладостью — страдаю для ребят — от сопричастности, что ли... Гипертрофированное сострадание — крестный знак нашего рода, может, не у всех, но у кого-то, над кем-то он был...» («Речь о реке»).

После гибели Николая Сопина детей увезли к бабушке в Ломное. Там Михаил учился в сельской школе. Ходить пришлось за много километров, в результате чего мальчик неплохо изучил местность (это пригодится в войну). У него была врожденная способность к ориентации. Учился легко, но небрежно. По всем предметам у него была одна общая тетрадь, которую носил за пазухой.

Как это часто водится, дети жили попеременно у бабушки и у матери, о чем, в частности, говорит стихотворение, несомненно, городское харьковское — «Ирине»:

В сорок первый,
Весел, шумен,
Я качусь,
На зависть всем,
В двадцать первое июня
На трамвайной «колбасе».
Громыхают перекрестки!
Контролеры не журят...

Гладит ветер
На матроске
Золотые якоря!
И глядят в меня игриво,
Улыбаясь вдрабадан,
Не погибшая Ирина,
Не горящие года.

ПАМЯТЬ ВТОРАЯ

Мне шел одиннадцатый год,
И не моя вина,
Что не дошел он – что его
Обогнала война...

.....
Народ потрясенный.
И вот мы становимся главными.
И даже старея,
Надежду торопим: «Скорей!»
А в памяти – сводки:
И Киев, и Харьков...
Над плавнями –
Не песни, а вопли
Пылающих в ужасе
Осокорей.

Сорок первый у Михаила Сопина окрашен
скитаниями по степи. Он рассказывал мне, что
стихотворение «1941» – картина с натуры: это
было ночью, над горизонтом вставало зарево
пожара, а по степи мчались кони. Возможно,
их испугала бомбежка:

...Сквозь лунный хуторок
В ночное поле
Скачут,
Скачут
Кони.
В ночное поле.
В призрачность дорог.
Вбирает даль,
Распахнутая настежь,
Безумный бег,
Срывающийся всхлип.
Им несть числа!
Ночной
Единой масти
Исход коней
С трагической земли!

Описания бесконечных дождей, действительно, имевших место осенью сорок первого... Но дневниковой хроники своей жизни Михаил никогда не вел. Датировку описываемых событий проще установить по документам войны, чем по строчкам стихов, однако совпадения не оставляют сомнений, что поэт воскрешал конкретную память. Населенные пункты не

описываются, но упоминаются. И эти акценты ясно очерчивают юго-запад нынешней Белгородской области и Харьковское направление.

«...Мы бежали из-под Харькова, в одной массе солдаты, дети, женщины, старики... Если бы нас тогда остановили, мы бы, наверное, умерли на месте. Фашисты нагнали нас, утюжили танками. Разорванные, раздавленные дети... Мне череп проломило осколком, спас какой-то военный, замотав голову тряпкой и пихнув в товарный вагон в районе Богодухова. Я валялся там на опилках весь в крови. Растолкала старушка, снова шли в толпе... Уперлись в реку, горел мост. Солдаты наспех сколачивали плоты, на них прыгали люди с детьми, плоты переворачивались. И все это под бомбежкой... До сих пор не понимаю, как выжил... остался жив» («Речь о реке»).

...Но в пыли и в дыму Лозовая,
И себя не узнать сквозь бинты.
Подмените меня, замените!
Поезда на горящих путях.
В поднебесье
Разрывы зениток –
Словно белые шапки летят.
Жгут стопы
Раскаленные сходни.
Дальше – поздно.
За насыпью – пост.
И горит меж былым и сегодня
Перебитыми крыльями
Мост.

На голове у него, действительно, слева был шрам, который он при стрижке всегда тщательно маскировал. Не об этом ли самом строчка из «Лагерной баллады» – «Ванюха»?

...Мне фриц белобрысенький
Тычет под нос парабеллум:
Мол, нюхай, чем пахнет –
Как делают это у нас.
Но я уже нюхал
От Харькова собственным брюхом,
Буксуя в грязь, с пробоиной на голове...

.....
Слепой, истошный вопль в овсе –
Шли танки с трех сторон,
Давили, били, рвали всех
Без всяких похорон.
На равных
Бой
И крик – ура!
Багряный след в овсе...
И насмерть бил, как били все.
И пропадал – как все:
Стреляю. Плачу. Кровь в зрачок.
Бью в башни, по крестам.

Но под разъездом Казачок –
От пули в бок
Устал.
Устал... Усталости конец –
Убитых братьев зов.
И пил в одиннадцать сырец,
С багровою слезой.

«Солдаты сорок первого года, восходящие на алтарь грядущей Победы – они во мне», – скажет потом Михаил Сопин. – «Не знаю, кто они, но получаю от них оценку тем, что остался жив. Я смотрю их глазами, вижу, как они смотрят. Их место на земле осталось пустым, и поэтому в День Победы нет у меня в душе ни торжества, ни гордости» («Речь о реке»).

В сорок втором Михаил в родном селе:

«Когда начинались налеты, мы с Катериной бежали прятаться в погреб. Бомбежки продолжались по трое – четверо суток... Я был в зачумленном состоянии. Когда сутками напролет бомбят, перестаешь испытывать страх за жизнь – безразличие полное. В таком состоянии солдаты, измотанные, спят прямо в окопах. Сейчас это совершенно не может быть понято... Скорей бы бомба попала, кончились муки...

У нас во дворе частями Красной Армии были прорыты профильные окопы, потом брошены. Окопы ошибочно выкопали перед избой, а дом, таким образом, оказался на линии огня. Начались тяжелейшие бои. Однажды во двор заскочили двое молоденьких солдатиков и прямо перед окнами стали устанавливать пулемет, но никак не могли его заправить. Бабушка выскочила с поленом: «Куда ставите, сейчас начнут бить по хате, а здесь дети малые!» Велела тащить пулемет на угол двора и там сама заправила пулеметную ленту.

Водить через фронт военных – это было естественное внутреннее состояние, как дыхание, потому что это была армия, которая – я. Где шли бои, какого масштаба – знала бабушка, деревенская маршалуго. Она и втянула меня: посылала переводить через линию фронта окруженцев. Мы, ребятишки, хорошо знали окрестности, кустики, овражки, буераки. Выводил два раза».

И вот тут начинается некоторая путаница, в которой мы с сыном долго не могли разобраться. Речь идет об окружениях в тех краях наших войск. По воспоминаниям военных и документам, которые нам удалось раздобыть к 2004 году, их значилось два (в 1941 и 1943 годах). А у Михаила получалось три, вдобавок – сорок второй год. Этот год у Михаила отмечен особо:

«Это я наползаю на скользкий от крови паром, с перебитой душою, под Харьковом в сорок втором...» («Спой мне, век...»).

«Харьков. Танки. Ночь. Основа. Под Мерефой – ад огня...» («1942»).

Из радио-записи «Дети войны» (Вологда, май 2003 года): «Я выводил раненых в самый тяжкий на Харьковщине, 1942 год, когда наша армия попала в гигантский котел, о нем все знают...».

Но что там произошло, под Харьковом в сорок втором? – и, в частности, в местах, где находился Михаил? Судя по историческим источникам, которые удавалось найти в библиотеках Вологды и Санкт-Петербурга – ничего. Полное затишье. Глубокий немецкий тыл. Могли Миша так крупно ошибаться в датах? Казалось бы, нет. С другой стороны, не подтвержденные документально, события мы не могли нигде приводить и, тем более, комментировать. Поэтому все непонятное и неубедительное в американской книжке «Пока живешь, душа, люби...» стали вычеркивать, как возможную ошибку. А через год мы прочитали в «Белгородской правде» очерк Почетного сотрудника госбезопасности СССР В. Павленко, в котором говорится:

«В начале 1942 года маршал Тимошенко и член Военного Совета Воронежского фронта Хрущев убедили Верховное командование в успехе предстоящей операции по освобождению Харькова. По мнению современных историков, их план отличался примитивностью и поспешностью... В результате – провал операции. Основная масса направленных на освобождение Харькова войск оказалась в немецком плену. Успех немцев был триумфальным – 240 тысяч военнопленных! Путь на Воронеж был практически открыт».

А вот как о том же рассказывает Михаил Сопин («Речь о реке»):

«Я видел бег исхода и беспомощность армии. Немой плач, как на картинах Чюрлениса серии «Похороны». Там есть траурная процессия – длинная вереница, которая теряется у горизонта, люди идут к солнцу, символу жизни, и прощаются с ним. А потом, когда солнце заходит, оставляя кровавые отблески, сияние исходит от самой процессии, от людей. Все выше в гору тянется шествие, выше и выше во тьму, будто огромный сверкающий уж... уходит, чтобы исчезнуть».

Но книга «Пока живешь, душа, люби!» так и вышла с неправильной датой, по техническим причинам ошибку исправить не удалось.

Прояснилась и история, которая всегда казалась мне загадочной. Еще при знакомстве в лагере Миша сказал, что имеет два ордена «Красной Звезды». Не скрою, что это вызывало недоверие. Даже была мысль: «А не могли ли мальчишки ордена... снимать с убитых?». Прямо я сказать мужу об этом не могла, но подзревала, что другие могут подумать так же, и посоветовала: «У тебя нет документов – никому не говори». Он так и сделал, замолчал, но... не совсем. Своим детям – говорил! Видимо,

это было ему дорого, мучило. За год до смерти мужа к нам домой пришла журналистка с местного радио, и, рассказывая о военном детстве, Михаил сказал: «Пусть микрофон слушает... У меня есть два ордена «Красной Звезды». Где-то лежат». В эфир, разумеется, не прошло, но запись сохранилась.

По словам Михаила, они были получены из рук лётчиков, которых мальчик выводил из окружения. При расставании лётчик сказал: «Носи, сынок, ты заслужил». Он так и сделал – некоторое время носил, а когда арестовали одного из его старших родственников, спрятал. Но что это за манера – раздавать собственные боевые награды детям?

И вот телепередача (как всегда, включенная где-то посередине, когда имя выступающего уже не установить). Русская артистка, испанка по происхождению, рассказывала про свою жизнь и начало артистического пути в семнадцать лет во фронтовой агитбригаде. Она попала в окружение под Харьковом в сорок втором. Из всей агитбригады уцелела одна, схоронившись в овраге с трупами. Пробыла там два или три дня, пока не удалось выбраться ночью незамеченной. Она рассказывала о страшной панике, охватившей окруженцев. Военнослужащие рвали документы и избавлялись от орденов «Красной Звезды», потому что за них расстреливали сразу.

И все становится на свои места. Становится ясным, что ордена, действительно, были получены мальчиком из рук героев войны и именно при таких обстоятельствах.

...Будто я в тумане раннем
От себя к себе иду
По больным воспоминаньям –
По тоненькому льду.
(«Курск-Харьков»)

Несколько слов о художественных особенностях стихов. Видение Сопина – почти всегда фокусировка двух-трех времен: прошедшего, настоящего и будущего. Смотрит мальчик, а оценивает взрослый.

Эта захлебывающаяся, пульсирующая перебивка создает энергетику, вообще свойственную творчеству Сопина. Нередко она проявляется не сразу, а как бы «в раскачку». Начало стихотворения очень спокойное, от случайного. Но напряжение нарастает стремительно:

Сидел у окошка.
Глядел в облаковую завязь.
Вдруг мысли хлесть-на-хлесть
Уродливым скользом по льду...

Чувствуется, что внутреннее кипение поэта – его постоянное состояние, готовое вырваться в любой миг яркой мыслью, воспоминанием:

Повеяло детством и ужасом,
И показалась –
Какими путями! –
Метель в предвоенном саду...
Прикрыла воронки
Разгонною беглою мретью.
И в сердце вернулся веселый,
Не бомбовый гром!
Но круто запахло
Наркомовской пайкой, и смертью,
И горькой победой
Под Харьковом
В сорок втором...

Несколько точных попаданий, ярких деталей, и – обобщение. Рождается эффект «сжатия» пружины, готовой распрямиться:

Шагали, как беженцы, печи.
Снега парусили.
Багряные выстрелы,
Словно бинты на ветру.
И молча вставала
Живая
Над мертвой
Россия,
Чтоб в сердце моем согреваться,
Пока не умру.

/71/

ПАМЯТЬ ТРЕТЬЯ

Где-то весной сорок пятого, незадолго до Победы, Михаил возвращается домой. По его словам, в Потсдаме он «был принят танковыми частями армии Москаленко», но ушел сам. Почему? – устал, надоело мотаться по дорогам. Когда будет День Победы, никто не знал. Подростка никто не удерживал. Просто сел в товарный состав и поехал.

Вернулся в родное село, к бабушке, и летом работал в колхозе. А осенью мать забрала его в Харьков и устроила в ремесленное училище, токарем. В Ломном железной дороги нет – конечно, эти строчки уже относятся к Харькову:

Дымя, мимо изб,
Мимо пашен
Раскатно
Грохочет состав!
А юность мне машет и машет,
Тревожно на цыпочки встав.
В бушлате,
Худая-худая,
Как в послевоенном селе...

Но удержать только у станка такого мальчика уже было невозможно.

Летом 2006 года мы ходили с Инной по Харьковскому лесопарку. Я обратила внимание на громадные, заросшие ямы.

— Это бомбовые воронки, — пояснила Инна. — Здесь шли бои, а потом харьковские мальчишки бегали сюда собирать оружие, и Мишка с ними. Мать рассказывала. Некоторые подрывались, становились калеками.

Подрывались.

Пропадали.

Стыли.

Многих

Ветер в поле отпевал...

Еще цитата из очерка В. Павленко:

«...На полях оставались стоять подбитые танки, искореженные взрывами снарядов артиллерийские орудия и другая боевая техника. В обвалившихся блиндажах мы, ребята, находили массу различного стрелкового оружия, мин, гранат, снарядов... Каждый из нас имел такую «коллекцию» стрелкового оружия, какой позавидовал бы любой современный музыкант».

А вот мозаика послевоенного быта в изложении Сопина («Речь о реке»):

«Над глубинкой в полный рост вставало раздувшееся от голода тело русского феномена: в побежденную Германию везли продукты и прочую помощь. А с запада на восток шли эшелоны, набитые вчерашними защитниками Отечества. Более удачливые слали домой подарки, кто-то даже ящиками или вагонами. В конце войны на территории Германии я был принят танковыми частями, пил с ними водку и ощущал неравенство страшное. Видел, как командиры посылали запечатанное в луковички и в мыло золото...»

Акценты смещались: врагами становились увечные и неудачливые. В сорок третьем, сорок четвертом годах стало много калек, этому не удивлялись, душу предохраняло время. Я с ними дружил. А к концу войны и после войны, когда они повылезали из всех щелей ползком, хромая, на колясках и тележках — стали заметны по-другому. Их просто убирали, высылали подальше, с глаз долой».

Прошавшему пол-Европы подростку не сиделось в родительском доме. Он дружит с пацанами из колонии Макаренко:

«Однажды меня, шестнадцатилетнего, в колонии Макаренко закрыли в тумбочку и сбросили с третьего этажа. И надо ж, ничего не случилось. А если бы и случилось, никто бы и не заметил. Мало ли нас убивали в заведениях печали!».

С ними, беспризорниками, Михаил срывается на Дальний Восток.

«Зачем?» — «Так, посмотреть страну...» —

«На чем ехали?» — «На крышах, под вагонами...» — «Что ели?» (Странный вопрос!) — «Мы брали у тех, когда видели — наворовано». — «Чем закончилось?» — «Да так... Доехали до Владивостока, постояли на берегу Тихого океана и вернулись» (из личной беседы).

Тема «преступление и наказание» мучила Михаила до конца его дней. Он не снимал с себя вины:

«Нас нужно было призывать к порядку — натренированное на бойне поколение огольцов самого удалого возраста, которым ничего не страшно. Те, кто старше — шли в бой под присягой. Маленьким еще предстояло войти в жизнь под контролем взрослых. А у нас за спиной ничего, кроме собственных понятий о чести и морали. Кто-то оружие хранил, но ведь кто-то и применял. Типичный случай: на танцплощадке пошел не с той девушкой, выстрел — убитый есть, а убийцы нет, все разбежались...»

Думаю, и меня тогда надо было наказать, но не так жестоко» (авторская запись к книге «Пока живешь, душа, люби...»).

В конце девяностых Александр Сидоров (Ростов-на-Дону) в двухтомнике «Великие битвы уголовного мира» пишет:

«В трудные послевоенные годы криминальная обстановка в Советской стране резко обострилась. Кражи, грабежи, разбои, убийства стали делом совершенно обыденным. В преступную деятельность втягивалось все больше новичков, особенно молодежи... Было признано нецелесообразным уничтожать преступников сразу: пусть лучше «загибаются» от непосильного, но полезного для страны труда».

В это же время в Вологде проблему осмысливает Михаил Сопин:

«С нами что-то надо было делать, и власть пошла по наипростейшему пути: придавить, выловить, уничтожить, приковать к лесоповалу... Ужас и простота этого обстоятельства привели к людоедской политике. Бросили клич — выжигать каленым железом, хватать за бродяжничество, незаконное ношение оружия (валявшегося горами везде), за воровство. Кого? Были орды бездомной шантрапы, брошенной на произвол судьбы, вынужденной себя кормить, греть, защищать. Выжившие в голоде и бомбежке, выплюнутые войной и расшвырянные по белому свету, они же оказались обречены на жерло лагерей» («Речь о реке»).

Не знаю, к первому или ко второму аресту относится стих-воспоминание из конца восьмидесятых:

Отпылала война.
Пала мирная тьма -
Стал для общества ты непригоден.
На Холодной горе
С козырьками тюрьма,
С тройниками спецкорпус.

И Гордин... (Начальник лагеря? Или следователь? - Татьяна Сопина).

В первый раз его арестовывают за хранение оружия: шла чистка Харькова. Давали по два года - как раз шло строительство канала «Волго - Дон», и привлечение бесплатной рабочей силы на строительство котлована Цимлянской ГЭС в опустевшей мужчинами стране было очень кстати. Здесь Михаил познает первые уроки сталинских лагерей:

Все здесь шло по модели,
Что преступный народ
Сам себя раскуделит,
Перервет, перебьет...
«МАЗ» рванёт в две сторонки -
Вскрик хлестнет по волне.
Никакой похоронки
В безымянной войне.

Но поистине трагическим оказался второй арест. Замечу, что к тому времени Михаил, как говорится, остепенился. Отслужил в армии, работал на заводе, женился, у него родилась дочь. Соседи с улицы Хемзовской, где теперь жили молодые Сопины, были поражены, что арестовали именно этого молодого человека, который всем так нравился.

Повод был незначительным до глупости. Как-то шли большой компанией из кино, растянувшись на квартал - в очередной раз смотрели «Бродягу». Впереди идущие пристали к парню и девушке (отнять велосипед), показали нож. Те закричали, подроспела милиция: банда! Большинство взяли сразу, но «хвост» (в том числе Михаил) разбежался. Правоохранительные органы без труда установили имена всех.

Судили за разбой по указу Президиума Верховного Совета СССР от 4. 06. 47 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан». Сопину дали семнадцать. И хотя через несколько лет, в связи с выходом нового Уголовного кодекса, указ был отменен, дела осужденных ранее не пересматривались. «Автоматом» сроки сокращали до пятнадцати лет, и Михаил отсидел своё, как он с горечью констатировал впоследствии, «от звоночка до звоночка».

Из далей харьковские клены
Сквозь сумрак полувековой:
«Вставай, проклятьем заклейменный!» -
Шумят над белой головой.
Родимые,

Все так непросто:
В едином с вами я
Строю
Встаю,
Забитый на допросах,
Над бездной лагерной встаю...
(Из сборника «Обугленные веком»)

Из записи «Речь о реке»:

«Вражеской становилась и многомиллионная армия агонизирующей безотцовщины. Скоро ей нашли «достойное» применение. Вся оккупированная территория была разрушена. Ее надо восстанавливать любой ценой, откуда-то взять армию новых строителей, которые бы валили лес, долбили руду, клали кирпичи...

Приняв знаменитые указы от четвертого июня сорок седьмого о борьбе с хищением государственного и частного имущества, «отец народов» убил двух зайцев: обеспечил рабочей силой самые гиблые места в стране и отреагировал на просьбу граждан обезопасить их от послевоенного воровства и бандитизма. Были ли среди них истинные преступники? Да, были... немного.

Система была простая: брали одного, били, он называл, часто наугад, еще двадцать пять... Страшное избиение видел в Харькове: человек кричал и испражнялся. И чем сильнее кричал, тем сильнее били - может, хотели заглушить крики, забив до смерти. Позже я понял, что методы борьбы и с Бухариным, и с беспризорниками были одни и те же. БИТИЕ ОПРЕДЕЛЯЛО СОЗНАНИЕ: за одного битого трем (тоже битым) давали на полную катушку. А за трех? Здесь - весь смысл. За проступок, каравшийся ранее месяцами, начисляли по десять-пятнадцать лет, без права пересмотра дела. Многие ли сегодня поверят в реальность печального Указа? А ведь именно по нему уходили сотни и сотни тысяч туда, где девяносто девять плачут, а один смеется - хозяин.

На предприятиях шли собрания, лекторы гремели гневными речами, набирали мощь групповые судилища. Разверстые пасти лагерей жаждали пищи. Распалялось «общественное мнение», а о «попутно» осужденных и по ошибке казненных скромно умалчивалось.

Народ требовал - партия и правительство откликались, опираясь на слепо-глухо-немые, околпачено - ухайдаканные массы. Шла гражданская война против собственного народа. Общество отплясывало на костях».

Параллели приходили на ум раньше, чем это было осознано обществом после крушения Советского Союза:

«Видел ли эсэсовцев? Здесь дело не в форме, серая она или зеленая. Тот, кто бьет меня до хруста и писанья кровью, тот и эсэсовец.

В числе послевоенной пацанвы, я был ввергнут в двойной обман. Школа рабизма втягивала человека в мясорубку, да еще заставляла соглашаться, что эта карта справедливая, что он преступник. И чем доверчивей, беззащитней был осужденный, тем сильнее он верил в свою преступность.

Сотни порченных пацанят сгоняли вместе, принуждали надеть на себя личину лагерников. Им ничего не оставалось, кроме как ощущать себя... волками. Повторяю – среди тех, кто попадал в облавы, были и воры, и насильники. Но не все. А давали всем – кому пять, кому десять, кому двадцать пять. От имени народа. Мракобесие народа – в готовности проголосовать за это и тем самым своих же детей послать на заклание...»

В разные годы эта тема в творчестве находит разное отражение. Вот восьмидесятые годы:

Ранний свет,
Глубинный свет печали –
Молчаливый
Призрак наших лиц.
Мы своё ещё не открычали.
Мы ещё своих не дозволись...
(Из сборника «Предвестный свет»)

А вот девяностые:

...Океаны молчанья
Мчат безмолвия долгого волны.
Для того и живу,
Сквозь глумления чащу дерусь,
Что без этих вот строчек
История будет неполной –
Как без «Мертвого дома»,
Как без Гоголя странного
Русь.

(«Агония триумфа»)

Надо ли уточнять, что Михаил Сопин, как и Николай Гоголь, считал своей Родиной (Русью) все большое пространство от Черного моря до Ледовитого океана.

Примечания:

Песочин – в сороковых годах пригород Харькова. Ныне в городской черте, название станции метро.

Холодная гора – возвышенное место на северной окраине Харькова, видное издалика. Есть ли сейчас там тюрьма, не знаю.

К главе «Память вторая»: Ныне в Интернете опубликована статья военного историка В.И. Семидетко «Харьковская катастрофа мая 1942 года», с подробным профессиональным изложением событий.

sopin70@yandex.ru